

В 1933 году в Ленинграде были репрессированы 885 человек, 115 впоследствии расстреляны. Эта книга посвящается памяти Николая Федоровича Загорского, просто человека из списка

ГЛАВА 1

«ОПАЛЫ ПРИНОСЯТ НЕСЧАСТЬЕ»

...Вакханки и гладиаторы дружно повернули головы, и даже Сашенька приподнялся из своего кресла. Так громко она крикнула. А засъемщик от неожиданности перестал вертеть ручку.

Она словно не заметила черно-белый Колизей, на-малеванный за моей спиной. Шурша платьем, бухнулась на колени. Не из раболепия, конечно, а потому что ноги ее не держали.

— Вар... Вар... — стучали зубы. Я отцепила ее холодные пальцы от края туники. На подоле заметила кровь: она порезала руки о вышивку, но сама того даже не заметила. Мусю, горничную Верочки, била дрожь. Я кивнула Сашеньке, гневно разевавшему рот.

— Пять минут, — пыхнул он. Сашенька никогда не умел злиться на меня по-настоящему! С тех самых пор, как свою фирму в Москве открыл Ханжонков.

Вакханки уже набрасывали шали на плечи, покрывшиеся гусиной кожей. Гладиаторы спешно закуривали. С хлопком погас горящий фонарь. Глазам сразу стало непривычно темно от петербургского дневного света.

— Муся. Теперь по порядку.

Следовало, конечно, надавать ей по щекам. Она была в истерике.

— Сказали: только вас. Только вы.

Потащила меня к выходу. Я только и успела схватить со спинки кресла свой соболий палантин. Свою шляпу.

Я терялась в догадках. У Верочки не было повода меня любить. Более того, в ее ко мне высокомерном презрении я до сих пор была вполне уверена. Что же это вдруг? И почему она в Петербурге? Дело было, по всему, нешуточное. Что ж, решила я, — меня жгло любопытство, — Сашенька подождет. Ему не впервой. С тех пор как свою фирму в Москве открыл Ханжонков.

Мои ноги в трико тут же ужалил морозец. Я весело глядела на свои сандалии — на снег. Соболиный мех ласкал щеки.

— Извозчик... извозчик... — лепетала она.

И тут я все-таки дала ей пощечину.

Она захлопала глазами. Но заткнулась.

— Муся. Я еду с вами, даже толком не выяснив, в чем дело. Вижу только, что дело серьезное и личное.

Она закивала. Опять вцепилась в меня:

— Нельзя, чтобы видели. Нельзя!

Актрисы так называемых серьезных театров — жрицы искусства — помешаны на том, чтобы выглядеть весталками. А сейчас к тому же дело, похоже, было правда плохо, и Верочка дала горняше исчерпывающие инструкции. Я терялась в догадках.

Махнула рукой Мишелю. Он тотчас опустил на глаза очки — больше для форсу. Загремел мотор моей «Изотты». Такая машина цвета шампанского была только у меня. Сашенька был щедр. С тех пор как Ханжонков открыл свою фирму в Москве.

Горняша побелела. Если только можно было побледнеть еще больше. Глядела на машину словно на дракона.

— Нельзя!.. Она в опасности! Жизнь или смерть. Все должно быть в тайне.

«Подпольный аборт?» — подумала я, ставя ногу на ступеньку. Значит, поэтому она и прикатила из Москвы — к петербургскому абортмахеру. Шито-крыто. Дело плохо.

— Вот что, Муся.

Я продела булавку в шляпку. Накинула на колени меховой плед.

— Если увидят, как я тащусь куда-то на извозчике, об этом будет говорить весь Петербург. Нет. Только авто!

Она мешкала.

— Чтобы никто ничего не заметил, положи это на самое видное место.

Горничная тупо смотрела. Не понимала, что я говорю.

— ...Полезайте же!

Я стукнула в спину Мишелю. Горняша плюхнулась, потеряв равновесие, на подушки из шкуры белого медведя. И моя «Изотта» понеслась.

Мы пролетели мимо Петропавловской крепости. Потом по мосту. На Невском Мишелю пришлось

давить грушу гудка изо всех сил. Наконец оказались на Морской.

Муся потащила меня к черному ходу. Я решительно шагнула к парадной двери. Ее уже распахивал швейцар. Если надо сохранить визит в тайне — не прячься!

Верочка сразу бросилась ко мне. Вне сцены она казалась бледнее и старше. Морщины вокруг глаз, губ, да и на лице как-то многовато лишней кожи. Что поделать, театральные гримы старит быстрее, если не предпринимать особых усилий.

— Варенька! Вы одна мое спасение!

И взмахнула руками:

— Не спрашивайте, не спрашивайте.

Лоб в испарине. Крови было не видно.

Пока не видно.

— Едем, — быстро приказала я. В таких случаях нужно действовать быстро. Быстро и решительно.

Верочка запихнула в ридикюль черный замшевый мешочек. Муся накинула на нее шубу. Приколола шляпу.

— Я не могла одна... Туда, — лепетала она в авто. Я держала ее горячую руку. Вынула из рукава платок, промокнула ее лоб.

— Я никого не могла просить. Такое сомнительное дело... Только вас. Ведь вам нечего терять... К тому же вам не поверят.

«Спасибо, милый комплимент», — но я не дала своей руке остановиться — промокала ее лоб. Похоже,

в горячке она не соображала, что несет, — выкладывала то, что было на уме.

— А он...

Она дернулась, будто я приложила к ее лбу не батист с кружевами, а каинову печать. Я даже выронила платочек. Он исчез где-то у нас под ногами.

Я не спрашивала: «знает». Ясно, что не знает.

— Не должен знать... Он необыкновенный человек.

Даже за бурчанием мотора было слышно, как клацают ее зубы. Ох уж эти артистки драмы! У них все необыкновенно. Адрес был мне незнаком. Кто же ее любовник? Если такая деликатность, такая конфиденциальность.

Невский, мост, Петропавловка, особняк Мали Кшесинской промелькнули в обратном порядке. Адрес был фешенебельный: на Каменноостровском, в одном из этих модных гигантов, снабженных всем, вплоть до грузовых лифтов и электрических картофелечисток.

Щегольская секретарша провела нас в приемную. Доктор оказался французом. Верочку увели.

Я смотрела вниз сквозь двойное стекло — на Каменноостровский проспект: на поток извозчиков, шляпы дам, конки, мешанину прохожих. Скоро здесь будет теснее, чем на Невском.

— А вы?

Я обернулась. Секретарша улыбалась рекламной улыбкой. И это деликатность?

— Мне кофе. Благодарю, — холодно приказала я.

— О!..

Она вернулась с кофе. И опять выжидающе за-
сияла.

Я взяла чашечку с подноса.

— Ваш бюст выглядит превосходно, — заговорила она. — Но смею заметить, что нет предела совершенству и пышности.

В таком месте тебя неизбежно примут за содер-
жанку. А может, дрянь просто позавидовала моей
шубе.

Она раскрыла передо мной брошюру. Я не глядела,
куда показывал ее наманикюренный пальчик. На что
там глядеть? Стадии развития плода? Увольте.

А потом опять заговорила. Я не поверила своим
ушам:

— Свиной — что?

Но тут уже вышла Верочка. Она старалась не
глядеть на доктора. Тот ухмылялся — я бы сказала
«сально», но не люблю дешевые каламбуры.

— Все превосходно. Небольшое воспаление, не
более того.

— А если они... опять?

— Я выровнял форму и размер. Никакого беспо-
койства. Теперь можем считать дело законченным.

И многозначительная пауза.

Верочка не глядя подала ему замшевый мешочек.
Доктор ловкими пальцами тут же развязал тесемку.

— Надеюсь, этого довольно, — бормотала Верочка;
похоже, все обошлось, и теперь ей явно не терпелось
уйти отсюда. А у доктора в горсти сверкнуло.

— Мадам, — сухо заговорил он. Бросил красноречивый взгляд на секретаршу. С ее лица тотчас пропала любезность. Оно стало суровым. Секретарша быстро прошла через комнату и крутанула в двери ключ.

Верочка беспомощно смотрела на доктора. Видимо, взгляд из спектакля «Волки и овцы». Спектакль я не видела, но взгляд точно был овечий.

— Платите.

— Вы... вы... Это бриллианты и опалы.

— Это стекляшки.

Теперь уже секретарша смотрела на Верочку как на вошь.

— Этого не может быть, — шла пятнами та. — Мне подарил их...

Имя впечатляло. Вот почему тайна: князь Ахтынцев ужасно разбогател на железнодорожных кредитах. Ему прочили министерский портфель. Но доктор был французом и, очевидно, плохо знал, кто в России кто: большой минус при его профессии. Я тотчас мысленно предсказала ему скорое разорение.

— Мадам. Платите. Или мы зовем полицию.

— Не может быть, — все шептала Верочка. Она была на грани обморока.

А стерва сняла телефонную трубку.

— Постойте, — остановила ее я.

Вынула из ушей серьги. Уж в них-то бриллианты-солитеры были точно настоящие. Сашенька, с тех пор как Ханжонков открыл свою кинофирму в Москве, не стал бы так рисковать, как князь Ахтынцев... Француз

и его секретарша обменялись взглядами. Я протянула серьги одной рукой, не глядя.

— Берите. Ну!

Жест был как надо. Жест римской императрицы. Про голос — не уверена. В кино не нужен голос. Ни у Сашеньки. Ни у Ханжонкова.

Тварь передала ему серьги. Он глянул. Взгляд опытного выжиги. И опустил в карман.

— А это я забираю. На память, — я сгребла из его руки ожерелье: стеклянные опалы, стеклянные бриллианты.

Схватила почти бесчувственную Верочку.

— Ключ.

Тварь отдала, робко оглянувшись на своего господина.

Мы вышли в прихожую. Я посмотрела в высокое напольное зеркало. Верочка была пунцовой, как драпировки в серьезном драматическом театре. И можно поклясться, ее краснота была полностью натуральной.

Только лишь она и была.

Что ж, за ее фальшивый бюст, наполненный свиным жиром, князь расплатился с Верочкой фальшивыми бриллиантами. А ведь мог бы настоящими, недоумевала я. Но видно, поэтому князь миллионщик, а я нет. Таким образом, Верочкину связь можно назвать бескорыстной.

Это прелестно! Я расхохоталась.

Верочка недоуменно глядела на меня: не истерика ли?

Не могла же я объяснить ей, что меня насмешило.
— Грим, — показала на зеркало я. — Я уехала
прямо с фильма.

Мое лицо покрывал толстый слой желтой пасты.
Только она на пленке и выходит белой, как кожа.

Хотела вынуть платочек, промокнуть размазавшуюся пасту. Да вспомнила, что еще в авто его обронила.

ГЛАВА 2

«...Стало понятно, что...»

Палец завис. Пишмашинка скалилась на Зайцева стертými коренными зубами, пережевавшими тонны отчетов, протоколов, заявлений. Наконец он нашел запропастившуюся букву «ж». Подковырнул запавшую клавишу. Треснул одиночный выстрел. «Стало понятно, что ж». Обе руки легли у подножия машинки, будто только того и ждали.

Лохматая голова Нефедова просунулась в дверь. Сонные глазки посмотрели. В них не мелькнуло ничего. Выражение было обычным — никаким. Посмотрел — и беззвучно пропал, как сова в дупле.

Руки так и не ожили. Две дохлые белые рыбины. Таким усилием воли можно было бы сдвинуть дом. Зайцев поднял руки, опять занес их над клавиатурой. Оттопырил указательные пальцы. Бумаги машинка пережевала тонны, а печатать толком он так и не научился. Щелкал двумя пальцами. Его это устраивало.

Ж — что он хотел сказать? — мысль щелкала вхолостую. Он ее упорно натягивал на зубчики, а она так же упорно соскальзывала.

Зайцев посмотрел на зубы пишмашинки. Рассказ о закрытом деле казался ненужным, никчемным. Всё

казалось таким тусклым. Словно в той поездке на юг, когда ловил убийцу рысаков*, он получил пробоину и вот с год уже через нее уходили силы. Он ходил на службу, больше того — служил, ловил бандитов и не проваливал заданий. Но при этом то и дело наступало чувство, будто он отстает от самого себя: двигается и одновременно тупо смотрит со стороны, не понимая, зачем все это.

— Вася, ты оглох?

Зайцев чуть не подпрыгнул на стуле. Теперь в двери маячил Самойлов. Баки топорщились, придавали круглой самойловской роже нечто кошачье. Не сытый домашний кот, а из подворотни: у которого уши рваные, морда в старых шрамах, шерсть клочьями — а походка неслышная. И когти наготове. Со своими Самойлов их выпускал чуть-чуть — поддевал, подкалывал, но никогда до крови.

— Не дают покоя лавры Алексея Толстого? — тут же принялся за него Самойлов. — Или Льва? Роман там, что ли, пишешь?

— Чего?

— Успеется. Отлепляй задницу, писатель. Общий сбор трубили. Не слышал, что ли?

Не слышал, удивился Зайцев.

— На Красных Зорь жмур.

И не дожидаясь вопроса:

— Подробности письмом. Давай, подгребай.

* Подробнее об этом читайте роман Ю. Яковлевой «Укрощение красного коня».

Впрочем, вопроса он бы и не дождался. Зайцев полпелся к двери. Можно сбежать от скалящейся челюсти.

Одно хорошо: после той его южной командировки отношения в бригаде, вернее между ним и бригадой, снова потеплели. Стали почти как были. Насколько это возможно, когда в бригаде бывший гэпэушник и все думают, что ты тоже как-то туда впутался — то ли насадка, то ли сам под колпаком. Почти хорошие отношения, короче.

Мотор уже гремел. Все сидели по местам. Нефедов, как всегда, на отшибе. Зайцев опустился рядом на дрожавшее каленое сиденье. Совиное личико не повернулось. Разговор не прервался. Впрочем, Нефедова в него и не принимали: он лишь слушал.

Зайцев нехотя подал голос:

— Кто убитый — уже известно?

— Убитая.

— Да.

— Нет, — все три ответа прозвучали одновременно.

— Актриска какая-то старая.

Зайцев откинулся на спинку, стал глядеть в трясущееся окно. Разговор взял философский поворот.

— Старая актриса. В этом есть что-то грустное. Нет? — Настроение у Серафимова, видимо, было философское. Опять с похмелья, предположил Зайцев.

— Чего грустно? Пожила до старости — пора и помирать, — проворчал Самойлов.

— Раз кокнули, значит, не пора, а помогли.

— Как посмотреть.

— Как ни смотри. Ножик в груди.

— Откуда сведения?

— Дворник. Он вызвал.

Автомобиль преодолел месиво проспекта 25 Октября. Выбрался на мост. Полетел на Петроградку между небом с косо висящими чайками и водой. Голубым на голубом сверкали купола мечети.

— Старые ведьмы обычно живучие. Уж мхом вся покроеется, грибами, а всё коптит небо.

— Когда молодая жизнь обрывается, как-то обиднее.

— Жизнь есть жизнь, — строго произнес Крачкин. И все заткнулись. Автомобиль въехал — мимо дворника — в ворота с граненым фонарем на толстой цепи.

Зайцев вылез первым.

Дворник перебежал к парадной. И теперь стоял на вытяжку там. Подждал подходов один за другим агентов.

— Это я вас вызвал, — торжественно сообщил он.

Зайцев замедлил шаг, задрал голову. Фасад был одновременно мрачным и щегольским. Такие дома любили строить как раз перед революцией. Тогда Каменноостровский — ныне улица Красных Зорь — пошел в рост, вошел в моду.

На него сзади налетел, толкнул Самойлов. Рассердился:

— Вася, что ворон ловишь?

И обошел, как досадную помеху.

— Вы болеете? — еле слышно спросил Нефедов, не поворачивая головы.

— Я? — удивился Зайцев. — Нет. Ты чего, Нефедов?

Он догнал Крачкина, догнал Самойлова, Серафимова.

— Какой этаж, уважаемый? — обратился к дворнику.

— Так это... Ее этаж.

И пояснил загадочные слова понятным жестом:

— Тудыть.

Квартира была на третьем этаже. Когда-то самая дорогая и роскошная во всем доме. Зайцев посмотрел себе под ноги. Медные скобы в каменных ступенях говорили, что в дореволюционное время на лестнице лежал ковер. Крачкин закапризничал:

— Я лифт возьму.

— Ножки не несут? Чемоданчик ручки оттянул? Смотри, уволят со службы. За физической несостоятельностью.

— Не работает лифт, — прогудел дворник, топтавшийся тут же, совавший нос. — Слесаря вызвали, а он не идет.

Но Крачкин уже утопил кнопку, и в кабине, обшитой резными панелями, зажегся свет.

— Заработал, — удивленно отозвался на явление дворник, точно лифт был вроде радуги — никак не зависящей от воли простых смертных.

— А мне, Самойлов, ножки не нужны. — Крачкин шагнул в лифт, семейное сходство которого с фонарем во дворе было несомненным.

— Это тебе ножки нужны, вы за бандитами бегаете. А моя сила — здесь, — показал он себе на лоб. Лифт, лязгнув, понес его наверх.

Встретились на площадке почти одновременно.

— ...Но ты, Самойлов, конечно, не понимаешь, о чем я, — закончил свою мысль Крачкин. — Там у тебя ничего нет.

— Открывай, — приказал дворнику Зайцев. И тот с ключом поднырнул под локоть. Дверь в квартиру, высокая, резная, сестрица дубовых панелей в лифте, была испещрена табличками с именами жильцов: коммуналка. В каждой комнате — по семье, прикинул Зайцев. Всё как везде. Таблички с фамилиями жильцов были деревянные, картонные, а некоторые и вовсе не таблички, а просто клочки бумаги. Только одна — богатая и медная. «В. Берг». Бывший владелец всей квартиры, надо полагать. Бывший адвокат, предположил Зайцев, или инженер. Революция от щедрот своих оставила ему одну комнату в его же бывшей — национализированной квартире. И наградила соседями.

В проем виден был холл и обширный коридор. Двери, двери, двери. Из кухни клокотала жизнь: негромко переговаривались, что-то хлюпало, пахло едой.

«Для квартиры, в которой лежит труп, как-то больно тихо», — не понравилось увиденное Зайцеву. Обычно жильцы норовили везде сунуться, все увидеть. Наперебой лезли с советами и подозрениями.

Он вошел. Соседи стояли на кухне — агоре любой ленинградской коммуналки. Тихо переговаривались. Умолкли, увидев гостей.

— Кто мертвую нашел?

Зайцев сознательно избегал слова «убитая», пока факт не установлен достоверно. Молчание.

— Я, — отозвалась немолодая женщина: куб юбки, на нем куб кофты. И сунула красный хлюпающий нос в скомканный платочек.

— Самойлов, — показал подбородком Зайцев: и без слов ясно — в первую очередь поговорить. Самойлов кивнул.

Зайцев задержался в дверях кухни. Оглядел. Важно схватить — не обдумывая — первое, самое острое впечатление от соседей, от жилья. На этой кухне порядок был безупречным. Ни хаоса разномастных столов и кастрюль. Ни веревок. Медный блеск утвари. Шкафы. Как будто и не коммунальная кухня, которую делят двенадцать семей и у каждой — свой достаток, свое хозяйство, свои привычки. Плачущей женщине уже подносили кружку. Об эмалированный край стукнули зубы. Обдумать можно потом.

Дворник отпирал комнату. Зайцев поспешил.

Нефедов, Серафимов и Самойлов замерли на пороге. Словно оробели. Из двери в коридор ложился клин дневного света, и все трое казались черными силуэтами. Зайцев встал четвертым. И понял, почему они не решались войти.

Некуда было.

До самого высокого потолка в лепнине комната была заставлена мебелью. Стулья на креслах. Кресла на столах. Тумбы на диванах. На шкафах — растопырив негнувшиеся ноги — какие-то кушетки. Шаткие зеркала и еще

более шаткие ширмы. Вверх уходили горы, утесы, пирамиды. Топорчились ножки. Столешницы и стенки намекали тупики. В просвет мелькнуло бильярдное сукно — ставшее от пыли армейским, серым; шары напоминали окаменевшую кладку доисторического ящера. И снова непролазная чаща деревянных ножек разной толщины. Свисали какие-то бархатные, шелковые тряпки — то ли шторы, то ли платья, заткнутые куда попало. Да уже и непонятно было, где верх, где низ, где право, где лево — сплошной лабиринт, сложная конструкция из дерева, тугих шелковых валиков, бронзы. Поблескивала гранеными сережками люстра, она отражалась в покрывшемся зеркале, на полированных плоскостях дрожали повсюду ее солнечно-бриллиантовые искры. Единственный просвет в мебельном хаосе соединял кровать и люстру как воздушная колонна.

Нестерпимо пахло пылью.

Первым оправился Серафимов:

— Не дай бог на башку что ляпнется.

Узенький — едва поставить ногу — проход вел к кровати. На ней и лежала мертвая старуха: под светлой шалью вздымались ступни, нос.

И торчала рукоять ножа.

— Трогали мертвую? — обернулся на дворника Зайцев.

— Никто не трогал, ваше выскблдие, — пробормотал дворник, которому зрелище причудливого лабиринта, очевидно, вышибло из головы последние пятнадцать лет.

Зайцев, Крачкин, Самойлов быстро переглянулись. А лицо-то накрыто шалью. Самойлов едва заметно кивнул: пощупать в разговоре с соседями.

Зайцев шагнул — и чуть не споткнулся о голову белого медведя, скалившую зубы. Саму шкуру не видно было под гнетом диванов, буфетов, козеток, шкафов.

Втиснулись и остальные. Они все поднимали подбородки, все вертели головами. Отчасти дивясь складу. Отчасти опасаясь шарахнуть обо что-нибудь головой или еще хуже — вызвать оползень.

— Коробочка, — высказался Серафимов. Весь белокуро-розовый, как вербный херувим, в полном соответствии с поповской фамилией — слишком длинной, поэтому все в угро давно звали его Симой. Если бы у Зайцева спросили имя-отчество его сотрудника, он бы затруднился сразу ответить. Сима и Сима. Бог весть как Серафимову и на службе в угрозыске удавалось выглядеть все таким же свежим, пасхальным: свидетели ему выбалтывали все. Таково, не без зависти подумал Зайцев, свойство больших круглых голубых глаз — все думают: дурачок. Серафимов тоже как раз начал ходить в вечернюю школу и там проходили «Мертвые души» Гоголя.

— Плюшкин, — поправил его Самойлов, который начал учиться на год раньше. Иначе грозили срезать оклад. — То есть Плюшкина. А может, вообще старуха-процентщица.

«Преступление и наказание» Самойлов уже прочел.

— Что старость с людьми делает, — не удержался даже всегда молчаливый Нефедов. Ему, как обычно, никто не ответил.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru